
ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПУШКИНСКОЙ
ПРЕМИИ
КОГДА-ТО БЫЛ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Как я решила стать русской
Лаура Сальмон

Книги со вкусом к прошлому

Лаура Сальмон

Когда-то был Советский Союз. Как я решила стать русской

«Эксмо»
2024

УДК 821.131.1-94
ББК 84(4Ита)-44

Сальмон Л.

Когда-то был Советский Союз. Как я решила стать русской / Л. Сальмон — «Эксмо», 2024 — (Книги со вкусом к прошлому)

ISBN 978-5-04-258469-5

Молодая итальянка отправляется в Россию, чтобы совершенствовать свой русский. В СССР она застанет перестройку, будет стоять в очередях за продуктами, заведет знакомства с интеллектуалами, обретет любовь и даже сыграет свадьбу. В этом рассказе от первого лица – самые напряженные и самые любопытные события о десятилетии в Советском Союзе. История Лауры Сальмон, которая стала известным слависто́м, профессором и переводчиком русской классической литературы, призывает нас не доверять предрассудкам, а строить свои убеждения на конкретных знаниях и опыте. Время от времени задавая себе вопрос: почему кто-то так сильно любит то, что другим внушает ненависть? Об авторе: Лаура Сальмон — славист, профессор, заведующая кафедрой русского языка и литературы и кафедрой теории перевода в Университете Генуи, переводчик русской классической литературы.

УДК 821.131.1-94
ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-04-258469-5

© Сальмон Л., 2024
© Эксмо, 2024

Содержание

Лаура Сальмон: Любовь как интеллектуальная честность 6
«Европа, Европа» 9
Призрак из атла́са 10
Учите русский, ребята! 21
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Лаура Сальмон
Когда-то был Советский Союз
Как я решила стать русской

Laura Salmon
C’era una volta l’URSS. Storia di un amore
Copyright © Sandro Teti Editore 2024

© Фарафонова Д. С., перевод на русский язык, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Лаура Сальмон: Любовь как интеллектуальная честность

Дорогой читатель! У вас в руках совершенно невероятная книга. В ней не просто история, происходящая на мосте культур, эпох и слов. Самая русская на свете итальянка Лаура Сальмон светлым платком нашей общей ностальгии по СССР протирает зеркало сердца и говорит о главном – живущей в нас памяти как единственном месте встречи истории и культуры. Если бывают книги – учебники любви к России, эта – один из лучших. Кстати, в итальянском издании она так и называлась: «Был когда-то Советский Союз. История одной любви».

Мне кажется, эта книга достаточно универсальна, поскольку может быть полезна как для ностальгирующих, так и для незнающих, и даже для тех, кто в своей привычной неприязни к СССР мог бы обнаружить некоторые механизмы, использованные в целях манипуляции нашим хрупким человеческим сознанием в советском и постсоветском обществе.

Прожив большую часть жизни за границей, я давно разучился делить людей на соотечественников и иностранцев. Но каждый раз, попадая в страны «цивилизованного мира», я часто чувствовал физическую невозможность доносить очень простые и естественные для нас эмоции и понятия людям, привыкшим воспринимать мир совсем по-другому. Это странное ощущение полного бессилия чувств, натыкающихся на стену безразличия или проваливающихся в пустоту чужого политкорректно-толерантного высокомерия и презрения одновременно. И речь здесь вовсе не о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже; мне кажется, мифология «цивилизованного мира» и его безупречный «маркетинг», дрессирующий мировую «демократическую прессу», включая круглосуточное мерцание миллиардов больших и малых экранов и фильтрующие наш мозг социальные сети, научили нас не видеть ни окружающего мира, ни самих себя. Самое страшное, что могло с нами случиться, – это коллективная мечта «джунглей» (то есть всего остального мира, выражаясь языком Борреля) о европейском «саде». Эта книга именно об этом, но не только.

Часто чтобы помочь нам лучше увидеть самих себя, необходим взгляд извне, который не затуманен нашим повседневным пейзажем с его привычной системой координат. Но этот взгляд должен быть из такого же сердца, как наше, и выстраиваться он должен не сверху или снизу, как это обычно происходит, а на равных, что куда сложнее, – с уровня, где человеческие глаза встречаются. Эта книга Лауры – смелая и честная попытка преодолеть все высокопрофессиональные слухи, сплетни и стереотипы, которыми кормит нас мировая информационная фабрика, чтобы мы сохранили в себе способность открывать человеческие миры заново, задавая миру собственные вопросы, принимая с восхищением или отвергая в негодовании то, что нам подсказывают не мода или политическая целесообразность, а наша совесть. Этот текст – об открытии его автором России, и нетрудно заметить, что Лаура Сальмон в этом процессе – ничуть не менее русская, чем любой из ее собеседников и сообщников на питерских кухнях, где, как известно, испокон веков решались все основные вопросы российской и мировой истории.

Несмотря на ее название, эта книга не только о России или СССР – она обо всех нас, где бы мы ни жили. Если бы у каждого из нас был светлый ум и интеллектуальное мужество Лауры, путешествуя по миру, мы бы обязательно разучились быть иностранцами и туристами и посвятили это короткое и драгоценное время поездок настоящим открытиям других стран и культур. Но не ради праздного любопытства или любви к экзотике, а из-за постоянной человеческой необходимости понимать себя через зеркало другого. Потому что я уверен, что мы никогда не увидим и не поймем наших собственных стран и культур, если искренне и глубоко не попытаемся услышать, почувствовать и полюбить другие.

В нынешнем расчеловечиваемом и пожираемом властью корпораций мире нет лучшей профилактики от национализма и фашизма, чем подобное упражнение любви к Другому. Не лицемерной «толерантности» по отношению ко всему непонятному, ненавидимому и презираемому невеждами всех времен и народов, а любви как единственной норме пребывания в этом мире. Если бы мы всерьез обратились к настоящей, а не выдуманной антисоветской прессой истории СССР, мы бы не смогли не разглядеть, что эта страна являлась первой и самой удачной в истории человечества попыткой построения общества всеобщей культуры и братства очень разных народов. Именно это, а отнюдь не деньги или индивидуальный успех были главными ценностями строившегося на нашей советской земле общества, совершенно независимо от того, насколько были окончательно достижимы поставленные великой коммунистической утопией цели.

Именно эта человечность, такая неподдельная и сама собой разумевшаяся для советских людей, поразила (и, наверное, изменила) в восьмидесятые годы молодую привилегированную девчонку из итальянской буржуазии.

Еще эта книга – машина времени. С первых страниц она перенесла меня в мир споров, надежд и иллюзий нашей советской юности заката СССР, где в нас жила какая-то невероятная эклектическая смесь жажды увидеть мир, испробовать все запретные плоды, прочитать все запрещенные цензурой книги и в то же время – полная политическая инфантильность. Как американские индейцы, думавшие, что конь конкистадора и всадник – одно и то же существо, многих из нас убедили, что капитализм и демократия – нераздельные части единого целого. Именно так мое поколение было превращено в разрушителей собственной истории и памяти, и эта книга, изложенная в виде художественного рассказа о любви, – фотографически точная хроника этого социального процесса.

Поэтому, если бы эта книга была не о любви, которая, как известно, всегда перевешивает и затмевает (точнее, «засветляет») всё, эта книга могла бы еще называться «Историей одной эвтаназии» или являться неплохим справочником западной русофобии, которая началась, разумеется, вовсе не в 2022 и даже не в 2014 годах. Пока мы, обезумев, массово неслись к обетованной пропасти, Лаура двигалась в прямо противоположном направлении. О своих первых встречах с СССР она пишет:

«В СССР мой бинарный западный максимализм разбился в пух и прах. Несуразные идеологические неврозы, которые окружали меня с детства и казались мне безусловным доказательством нашей западной свободы, уступили место парадоксальному юмору русского народа, в сравнении с которым сам Пиранделло пасует. Это было своего рода физиологическим откровением. Я стала чувствовать себя лягушкой, выросшей в полной хрусталя гостиной и вдруг оказавшейся в необъятном многонаселенном пруду, в котором я радостно плескалась, гордясь тем, что освободилась от гнета статуэток».

Недавно, еще ничего не зная о существовании этой книги, в своих дорожных записках я пытался сформулировать, чем для меня стала сегодня Россия. Читаю и перечитываю замечательные строки Лауры, и мои слова стремятся составить им компанию:

«Россия – крошечный кусочек Вселенной, где любой из путей всегда пересекает не только пять обитаемых континентов, но и то число историй и смыслов, которые неизбежно сбивают любой из алгоритмов любых пришельцев извне. Именно эта глубина понимания или непонимания – мерило не только ее расстояний, но и определитель направления, которое свободно выбирает путник. Человеческий глаз – удивительный инструмент. Кроме пропастей и кажущихся непроходимыми бурных потоков, он выстраивает красоту мостов и идущих по ним людей. География и история России – учебник смысла времени. Европейское понятие абсурда и черного или белого юмора загоняет сознание в ловушку рационализма, где цивилизация заблудилась где-то между динамо-машиной и комиксом. Россия, как и мир, непостижима из глупости и пошлости определений моральных кастратов, привыкших учить нас страсти и духовности.

Когда слово понимает, что не в состоянии выразить объем реальности, оно ищет музыку. Когда музыка слышит, что больше не может, она звучит тишиной. Когда тишины оказывается недостаточно – нам остается только хронометр сердцебиений как единственный разделитель пространства между могилой и космосом. Когда любовь наполняет каждый нерв и сон и ее растущий напор разрывает нас на части, мы ищем объятия любого встречного облака или взгляда, способных подтвердить нам, что мы не одни».

Одна из главных ценностей этой книги – в попытке очень свободного и критического анализа причин разрушения Советского Союза, что остается не только одним из основных вопросов прошлого века, но и ключом к пониманию сегодняшнего трагического состояния мира. Исследовательские инструменты Лауры – не омертвевшие политические клише и экономические расклады «объективной реальности», всегда создававшиеся в угоду любой власти, а язык, городской пейзаж, культурные процессы и символика, т. е. то, вокруг чего вращается набор наших политических верований, предопределяющих стабильность той или иной государственной системы. Каким образом самая благородная из человеческих цивилизаций, с честью преодолевшая множество невероятных препятствий и смертельных рисков, дойдя до высочайшего уровня своего развития, вдруг приняла решение о самоликвидации? И почему советские люди, в нескольких поколениях воспитанные на настоящей культуре и настоящих ценностях, не захотели или не смогли противостоять этому? Это вопрос к будущему не только России или бывшего СССР: ответ на него необходим всему миру, сегодня практически повсеместно погружающемуся в эту нынешнюю, новую, особо варварскую и извращенную разновидность капитализма.

В наши дни, когда планетарная власть транснациональных корпораций, банков, их управляющих и купленных ими интеллектуалов, артистов и ученых пытается загнать человечество во всеобщую депрессию, чтобы лишить народы и культуры воли к сопротивлению, как и во все самые трудные моменты истории, нашим главным и безотказным оружием остается слово. Одно из подтверждений этого – книга Лауры Сальмон, которая у вас в руках.

Олег Ясинский

Светлой памяти моих бабушки и дедушки,
Клары и Элио Сальмон

«Европа, Европа»

Советский народ, победивший Гитлера и спасший Европу от нацизма, рассеял по бесчисленным местам былых сражений символы благодарности миллионам советских солдат и простых граждан, которые отдали жизнь за то, чтобы и в самых отдаленных уголках истерзанной Европы у нас было будущее без Übermenschen и Untermenschen.

Сегодня, в то время как я пишу эти строки, памятники, большие и маленькие, которые воздвигли пережившие войну в память о жертвах, принесенных советским народом, сносятся бульдозерами Европейского Союза. На расстоянии я слышу в голове их грохот, испытываю физическую боль. Борюсь, чтобы в моем мозгу сохранились все до одного образы, воспевающие Память, почтение к которой на Западе, скорее, старательно изображают.

Под тихие слезы внуков и правнуков героев и жертв, в ямах от снесенных памятников образовывались моря оставленных ими цветов. Эти цветы не только возрождали признательность народа к падшим, но и выражали траур по Европе, которая когда-то погубила, а сегодня глубоко ранит миллионы людей, их семьи, детей и потомков. Эти ковры цветов выглядели пестрым, безмолвно-оглушительным плачем перед пробуждением темной европейской души, которая все с прежним цинизмом и с уже новым лицемерием отправляет свои мусоровозы теперь и за этими цветами Памяти. Восемьдесят лет спустя темная европейская душа говорит нам о том, что со своими неизменными ценностями, такими как благодарность и надежда, мы тоже, как и наши бабушки и дедушки, – мусор.

Изничтожение цветов Памяти выглядит не только банальным, казенным преклонением перед ненавистью, но и красноречивым ритуалом беспощадной злопамятности побежденных.

В какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд?..

Нерви, июль 2022 г.

Призрак из атла́са

Было где-то полдвенадцатого или, может, полночь. Тринадцатого июня 1987 года. Я оказалась совсем одна в полутьме громадного помещения внутри аэропорта Восточного Берлина Шёнефельд. Нечто вроде ночлежки для транзитных пассажиров без визы – место за гранью реальности, окутанное легким весенним туманом в полусотне метров от взлетно-посадочной полосы. Ночлег именовался «отелем» и стоил запредельно дорого, а выглядел как смесь казармы и летнего лагеря для детей из малообеспеченных семей.

Осоловелая, я долго стояла перед окнами огромной комнаты, занимавшими всю стену. Они были густо покрыты влагой, без занавесок. Чтобы унять томление и скуку, я смотрела на самолеты, равномерным чередом взлетавшие на моих глазах. Видимо, это были последние рейсы «Интерфлюга» и прочих авиакомпаний тех стран Восточной Европы, которые мы тогда называли «иным миром». В Италии об этом мире почти никто ничего не знал, однако у всех о нем были устоявшиеся и нередко категоричные мнения.

Чрезмерная цена, заплаченная за чудаковатый берлинский «отель», объяснялась надписью английскими заглавными буквами на моем ваучере: single room. На самом деле я была наедине с двадцатью четырьмя койками и одной огромной, аскетичной ванной без окон и без мыла.

В ванной горел свет и нигде не было видно выключателей. Как и во всех соцстранах, из кранов мощной струей лился кипяток. Чтобы убить время, я могла, по идее, помыть голову, но, разумеется, не хватало фена, к тому же было холодно, а соцполотенца были тонкими и маленькими. Их белый лен походил на изящные льняные полотенца моих бабушек с вышитыми вручную фамильными инициалами. Я ревностно сохранила их все, но сейчас они никому не нужны, ведь икеевские – пестрее и практичнее.

После ослепительной световой волны Туполева-154, только что вылетевшего последним рейсом в Москву, в тревожной полутьме палаты, обрамленной неподвижными синими огоньками взлетной полосы, воцарилась призрачная тишина. Ее нарушали лишь обрывки немецкой речи, доносящиеся из коридора.

Я испытывала ту отчуждающую, готическую тоску, которую замечательно описал Фрейд в своем эссе «Жуткое». Единственным моим попутчиком было свадебное платье, висящее на верхней перекладине одной из двенадцати двухъярусных кроватей. Высвобожденный из чехла, длинный шлейф спадал почти до пола, переливаясь перламутровыми отблесками атласа. В своем изяществе платье-призрак выглядело еще более сюрреалистично. Атласный силуэт, на котором то и дело отражались блики фар, будто пристально глядел на меня и нашептывал одно слово: «*Зачем*?»

Именно, зачем? Зачем находилась я там, озябшая и голодная, наедине со своим тревожащим двойником со шлейфом? Зачем в холодную июньскую ночь я оказалась взаперти в опустевшем аэропорту в «ином мире»?

Безусловно, Германская Демократическая Республика была сателлитом СССР – по сути, дружественной соцстраной. Но все же там говорили на немецком языке, и назло рациональной воле этот язык как для меня, так и для многих людей на свете все еще ассоциировался с истреблением миллионов евреев и русских.

Через несколько дней в Ленинграде я должна была выйти замуж за русского еврея.

Случайностей, похоже, не бывает.

* * *

Я прекрасно понимала, что языки ни в чем не виноваты, но с немецким никак не могла совладать: как бы долго и усердно я его ни изучала, он вызывал у меня содрогание, даже когда я сама на нем говорила. И все же мои бабушка с дедушкой, со своими тремя детьми чудом пережившие катастрофу, спаслись благодаря прекрасному немецкому языку бабушки, которая убедительно (а может быть, удачно-трогательно) наврала гестапо, выдавая себя с дедушкой за французов:

«Wir sind keine Juden! Wir sind Franzosen».

На самом же деле фамилия Сальмон, пусть даже очень распространенная во Франции, явно оставалась еврейской.

В общем, бабушка настаивала, чтобы я изучала иностранные языки: прежде всего немецкий – на всякий случай. А много лет спустя замечательная итальянская синхронистка, тоже еврейка, однажды сказала мне:

«Надо заставлять себя познавать то, что больше всего пугает».

Причины страха у людей различны, но всегда сугубо связаны с культурной и эмоциональной историей каждого человека, каждой семьи, порой целой нации. Страх продолжает обусловливать преференции и неприязни индивидов, человеческих групп и даже животных. С одной стороны, страх – явление генетическое, но с другой – отчасти приобретенное. На первый взгляд, он иррационален, однако по-своему последователен.

Мой отец спасся от преследований и геноцида евреев. Мать невредимой пережила американскую ковровую бомбардировку, уничтожившую ее родной город и убившую ее бабушку и тетю по отцовской линии. В честь погибшей тети мама дала мне второе имя – Линда. Родители моего жениха пережили смертоносный разгул Третьего рейха и блокаду Ленинграда, которая длилась почти девятьсот дней. Моя будущая свекровь была блокадницей, а свекор – ветераном Великой Отечественной войны.

Наши затравленные и «забомбардированные» родители доверили поколению детей сохранение собственной памяти и памяти своих родителей – наших бабушек и дедушек. Нам вверены были честь и обязанность почитать память жертв и героев, помнить их подвиги, их страхи, их надежды. Нам был передан антидот, чтобы мы могли уверенно разоблачать нацистскую ненависть к нам в любой ее форме, даже в самой искаженной и коварной.

* * *

На тесной железной кровати аэропорта Шёнефельд холодная сырость пронизывала меня до костей, смешиваясь в странной синестезии с сиреневыми отблесками взлетной полосы и с доносившимся из ванной комнаты гудением неоновой лампы, которую невозможно было выключить.

Кроме свадебного платья, которое висело на перекладине верхней койки, я надела на себя все, что было в ручном багаже: мой огромный чемодан, как это обычно случалось с транзитными пассажирами без визы, задержали в камере хранения «Интерфлюга», а получить его можно было лишь на следующий день в Ленинграде.

Ленинград был самым красивым городом, который я когда-либо видела, – уникальным слиянием искусственности и естественности. Это был город непримиримых противоположностей: приблизительно так его определял «человек из подполья», хотя в эпоху Достоевского тогдашнюю столицу называли Петербургом. И, как все русское, бывшая столица империи была конкретным, хоть и неуловимым, игривым, но в общем-то строгим городом.

Советский Ленинград выглядел классическим и барочным слиянием роскоши и социализма. Ни фабричные столовые, ни красные вывески на крышах домов Ленинграда не могли нарушить таинственный шарм тонко выверенного сочетания воды и гранита.

Завтра, думала я, приземлюсь наконец-то в России, и тоскливая тевтонская пауза рассеется обволакивающим теплом советской жизни. Ведь было нечто необъяснимо эйфорическое в СССР восьмидесятых годов – своего рода тихий, безвредный коллективный гедонизм. Полагаю, что при всеобщей глубокой неосознанности уже тогда в воздухе витали ядовитые и опьяняющие испарения грядущего краха. Мы, молодые итальянские русисты, пародируя эпохальную передачу отечественного телевидения RAI «Те, которые ночью…», где все шутили над «рейгановским гедонизмом», при всеобщем непонимании окружающих толковали, в свою очередь, о «брежневском гедонизме».

Началась перестройка. СССР с упоением предавался деидеологизации, отражавшей, как казалось многим из нас, «здоровый индивидуализм». Я тогда была не в состоянии разграничивать поползновения к либертарианству моих советских ровесников, тягу к алкогольному воодушевлению целой нации и неизменную радость людей, переживших Великую Отечественную войну. Своему несгибаемо-позитивному настрою моя свекровь-блокадница, например, давала объяснение, с Брежневым ничего общего не имевшее:

«Кто из нас пережил нацизм – тот готов в любую минуту плясать на столах. Да мы и ночью, пожалуй, тоже пляшем – во сне».

Противоречивая эйфория, столь живо ощутимая в тогдашней России, питала практически всех: даже в глазах самых мрачных властителей дум советского диссидентства было больше жизни и воодушевления, чем у наших западных яппи-весельчаков. Последние, впрочем, уже тогда выставляли напоказ свои дорогие джипы и яхты, а также свою неприязнь к культуре, к интеллектуальной нагрузке и, прежде всего, ко всякому остатку морали. Безусловно, яхты меня привлекали, но культура была гумусом, который питал среду моего становления, и при всем желании моя совесть была неспособна на компромиссы. В конечном счете я воспринимала эту дилемму по принципу *aut-aut*: либо деньги, либо достоинство. Однако мне понадобилось довольно мало времени, чтобы убедиться, что излишнее изобилие наводит скуку и уныние. За богатство приходится платить немыслимую цену: после крушения Советского Союза я собственными глазами видела, как мои веселые, жизнерадостные друзья, за несколько месяцев добившиеся головокружительных состояний, вмиг превращались в нравственных неудачников. До сих пор душа болит при воспоминании о том, какими они были свободными и беззаботными, когда у них все было «как у людей».

Неизъяснимая парадоксальность советского народа стала открываться мне очень скоро. Почти сразу я начала догадываться о том, в чем твердо убедилась годы спустя: русские являются народом, на бессознательном уровне настроенным анархически, при этом они осознанно соглашаются с тем, чтобы кто-то занимался ограничением их незаурядных и необузданных наклонностей – чтобы кто-то, например, запрещал им проезжать на красный свет светофора.

Это лишь один из бесчисленных парадоксов русских, каким-то образом заразивших народы всего СССР. Ведь в России все выглядит чуточку парадоксально: традиционализм – мятежен, прогрессизм – осмотрителен, досуг – производителен, а продуктивность – неэстетична.

В советское время все знали анекдот о шести парадоксах социализма:

> «Нет безработицы, но никто не работает; никто не работает, но растет производительность труда; растет производительность труда, но в магазинах пусто; в магазинах пусто, но у всех все есть; у всех все есть, но все недовольны; все недовольны, но единогласно голосуют „за“».

В СССР мой бинарный западный максимализм разбился в пух и прах. Несуразные идеологические неврозы, которые окружали меня с детства и казались мне безусловным доказательством нашей западной свободы, уступили место парадоксальному юмору русского народа, в сравнении с которым сам Пиранделло пасует. Это было своего рода физиологическим откровением. Я стала чувствовать себя лягушкой, выросшей в полной хрусталя гостиной и вдруг оказавшейся в необъятном многонаселенном пруду, в котором я радостно плескалась, гордясь тем, что освободилась от гнета статуэток.

* * *

С тех пор как мы поздним вечером приземлились в Берлине, я ничего не ела – буфеты и кафе были закрыты. В самолете нам предлагали лишь омерзительный кисло-сладкий лимонад и липкие карамельки. Я проклинала свой нелепый снобизм, не позволявший мне включать еду в набор для выживания, который я всегда таскала с собой в ручном багаже. Я была жеманным продуктом своей эпохи, и надменность, с которой я себя вела, будучи еще совсем юной девушкой, скрывала некоторую классовую брезгливость. Я чувствовала отвращение при виде носков в сандалиях, гондол из позолоченной пластмассы, плюшевых чехлов на сиденьях автомобилей, и главное – при виде путешественников, разворачивающих в поезде или на пароме домашние бутерброды. Дома мама придумала меня называть «сквинчи-скванчи», «воображулей-задавакой».

Впрочем, я не переставала задаваться вопросом, какого черта я забыла в аэропорту Восточного Берлина? Что же ищу я за железным занавесом, где все ненавистные мне безобразные вещи являются нормой? Это я-то, которая, выходя в магазин за молоком, надевала колготки под цвет сумки…

СССР заставил меня вести стойкую борьбу против спеси привередливой модницы. Я пыталась перестать считать себя лучше других исключительно потому, что принадлежала к благоустроенной клике, убежденной в своем врожденном праве на привилегированность. С большим трудом я начинала пересматривать параметры радости, достоинства, бедности. Тем более что безраздельно влюбленная в Америку привилегированная молодежь, окружавшая меня на родине, почти всегда страдала депрессией, неполноценностью и завистью. Идолом моих ровесников был американский Фонзи из сериала «Счастливые дни», а их идеалом девушки был опаленный солнцем скелет. Конечно, с одной стороны, я изо всех сил пыталась, притом с неожиданным успехом, приспособиться к извращенному идеалу своих друзей; но мне на тот момент было двадцать семь лет, и я вбивала себе в голову, что мне пора уже повзрослеть.

Предпринятое мною дело было отнюдь не из легких: если от самых поверхностных форм индивидуального высокомерия можно избавиться довольно быстро, то подсознательные аксиомы западной спеси являются почти неистребимыми. В общем, на Западе мы в глубине души до сих пор убеждены в том, что принадлежим к вершине человечества, то есть к тем, «кому все завидуют». А самое грустное в том, что до недавнего времени полпланеты нам действительно завидовало. К сожалению, кто изо всех сил старается быть предметом зависти, обязательно испытывает опустошение, когда эту зависть теряет.

* * *

Я выбрала одну из двухъярусных кроватей и легла на нижнюю койку. Чтобы скоротать время, я старалась определить, по какому инстинктивному критерию я выбрала именно ту, а не любую другую из двадцати четырех коек в моем распоряжении. Поглядывая сквозь металлическое ограждение, я различала очертания призрака из атласа, который едва заметно продолжал колыхаться. Он смущал меня и волновал.

Я испытывала странные и смешанные ощущения, из которых преобладало первобытное и устойчивое желание поесть. В эту бесконечную тревожную ночь я отвлекала себя предвкушением будущего, воображая, как окажусь в Ленинграде перед большими блюдами с блинами и горой котлет моей будущей свекрови, этих волшебных мясных лепешек, на которые русские смотрят, как итальянцы на спагетти. Я уже представляла себе погружение в дружественные звуки русской речи.

Это нелегко объяснить, но русский является не просто «языком», а обликом целой цивилизации и особого подхода к окружающему миру, да и к самому себе. В университете я выучила наизусть стихотворение Ахматовой «Мужество», написанное в трагичном 1942 году; в нем спасение русского языка символизирует спасение целого советского народа:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

За последние годы глубинная вековая связь между языком и русской цивилизацией подвергалась свирепым нападкам, порой приводящим меня в отчаяние, хотя я сохранила способность надеяться. Надежда – спасительная добродетель, роднящая еврейскую и русскую культуры. Надежда – противоядие от уныния, оружие против всякого рода цинизма во все времена. Главное – не путать ее с иллюзиями.

В Ленинграде у меня были друзья всех мастей: чудаки и прослывшие гениями умники, шустряки и мятежники, неудачники и педанты, но всех их сближал юмористический подход к жизни, почти актерская способность чародействовать посредством языка. Владение русской речью было наиболее престижным «символом статуса».

Среди множества дерзких нерадивых юмористов был также один уже не юный парень, за которого несколько дней спустя я должна была выйти замуж. «Среда, 17 июня. Время: 14:40» значилось на глянцевой бумажке, которую нам вручили 17 марта, в день, когда мы, как и положено, ровно за три месяца записались на регистрацию в ЗАГСе.

Я едва его знала, но чувствовала, что нас объединяет нечто крепкое и древнее. Десятилетиями я спрашивала себя: «Почему он?» И ответ, по крайней мере рациональный, по сей день все тот же: «Он, как и я, хранит Память».

С самой колыбели наши жизни шли параллельно, разделенные непроницаемым железным занавесом. Несмотря на это, у нас было много общего: мы принадлежали к одной и той же тысячелетней цивилизации и разделяли одни и те же нравственные ценности, без которых никакая культура и никакая связь не выживает.

Все случилось за какие-то несколько месяцев. Моя жизнь, пускай и непоседливая, но уверенно направленная на здравую итальянскую развязку («жену и вола со своего двора»), казалось, или безотчетно сошла с рельсов, катясь в сторону бездонного обрыва, или же вот-вот должна была бесстрашно взмыть в звездные пространства. В те молодые годы мне было трудно

смириться с тем, что моей жизни суждено было оказаться чуть более запутанным и пестрым вариантом абсолютно заурядной судьбы.

Впрочем, загадка была довольно простой: в моей любви к нему была и моя любовь к Ней, к той неуловимой, волшебной России, которая меня всецело пленила, постепенно сминая все предвзятости, условности и надменности.

* * *

В молодости мне было крайне тягостно находиться в одиночестве в чужом месте. В ту ночь было никак не уснуть: меня обуревали враждебные мысли и ощущения. Тевтонские голоса из коридора умолкли, самолеты затихли; я могла слышать свое дыхание. За стеной моей палаты, в приемной аэродромного интерната, оставалась лишь неприятная сонная девчонка-немка. Когда два часа назад я предстала перед ее уставшими серыми глазами, она ответила полным равнодушием на мои усилия продемонстрировать ей мой немецкий – впрочем, уже обезображенный интерференциями русского, слово за словом жадно съедавшего все прочие языки.

Ворочаясь в койке, я думала, что смогу найти предлог вернуться к противной немке с попыткой разговориться. Но что я могла ей сказать? Что я перевернула с ног на голову свою обнадеживающую обеспеченную жизнь, чтобы перебраться в «иной мир»? Что степень моей избалованности и скуки подтолкнула меня к тому, чтобы выйти замуж за советского голодранца? Я представила себе ее реакцию: «Ты что, свихнулась, кретинка-итальяшка?! Не морочь мне голову! Сиди ты со своими магазинами, витринами и апельсинами. Какое тебе до нас дело?» Пожалуй, я могла ей объяснить, что мне осточертели витрины и магазины, что «иной мир», ее мир, меня полностью устраивает… Да уж, идея была отвратительная. Лучше было оставаться в постели.

Еще я могла бы почитать одну из маленьких легких книжек, которые взяла с собой в путь. Среди них был «Кандид» Вольтера – веселая книжка, то что надо. Но над кроватью не было лампочки, а единственный промышленный светильник шел вдоль всего потолка: две раскаленные неоновые полосы цвета простокваши, напоминающие провинциальную фабричную столовую. Была бы у меня хоть таблетка от головной боли, я бы выпила ее вместо снотворного, но немногие мои лекарства были в чемодане.

Я нашла в сумке горькую лакрицу и «американскую резинку» (так мы еще называли жвачку). Жуя их вместе, я встала покурить рядом со щелочкой у окна. Я медленно курила свои Multifilter blue, которые в России пришлось бы, в лучшем случае, поменять на сомнительного качества, хоть и пользовавшиеся спросом болгарские сигареты.

В итоге я решила снова лечь и оставаться так с закрытыми глазами. Мама мне всегда говорила, что лежать в постели – уже большая удача. Во время войны, говорила она, кровати были роскошью, что уж говорить о чистом белье. Когда их эвакуировали из города во время бомбардировок и воздушных обстрелов, ей с ее сестричками и братиками часто приходилось сидеть ночами в канавах.

Оставалось меньше пяти часов до того, как мое будущее снова войдет в свою колею: надо было только дожить до рассвета. Все было решено, назад дороги не было: я, он, призрак, Советский Союз – бесконечная страна с одиннадцатью часовыми поясами. Навсегда, думала я.

На рассвете я почувствовала, что скоро перестану спрашивать себя – зачем? Но в последние часы перед вылетом этот вопрос навязчиво преследовал меня как некий душевный фон, распадаясь на тысячу других вопросов. Говорят, такое бывает накануне свадьбы даже с теми, кто женится в часовне под окнами собственного дома. Эх, поди пойми…

Что же произошло в моей голове в том сумасбродном 1987 году? Что такого было в этой далекой, беспредельной и чуждой нашему миру России, что она так манила меня и других студентов?

* * *

Наш ленинградский друг, тогда еще молодой врач-литератор, всегда говорил: «Россия – страшная, кайфовая страна». Он умер несколько лет назад в Израиле, где надеялся побороть тяжелое заболевание. А разрушала его ностальгия по навсегда исчезнувшей родине.

Советская Россия внушала мне состояние глубокого внутреннего блаженства, которое не выразить словами. Скорее, чем «кайфовую страну», она напоминала мне золотую жилу неутомимого жизнелюбия. Полагаю, это было связано с тем, что мир, в котором я оказалась, вроде бы похожий на тот, где я выросла, радикально от него отличался: в нем умели обходиться немногим и жить в такой душевной гармонии, которую я до этого нигде не встречала.

Там было все не так, как у нас: люди, идеи, дома, неутолимая страсть к литературе, к искусству, к культуре: «У нас даже алкаши могут преподавать французский язык!», читаем мы в одной из зарисовок в «Записных книжках» Сергея Довлатова, одного из первоклассных повествователей советского мира.

Как бы мало ни верили в то, что придет долгожданный коммунизм (как проповедовал Маркс, «от каждого по способностям, каждому по потребностям»), в чем-то социализм хорошо сработал, сделав советских людей по сравнению с нами более достойными и более человечными. Как в добродетелях, так и в пороках. Тот огромный многонациональный народ со своими удивительно разными физиономиями, те люди, которые разговаривали на совершенно разных языках и были свидетелями таких вещей, какие мы себе и представить не могли, в течение десятилетий столкновений и насилия учились взращивать ценности солидарности и единения, старались всеми силами бороться с неизбывным антропологическим искушением презирать и ненавидеть *чужих*. И в общем-то им это удалось.

* * *

Той ночью в середине июня, лежа на восточно-берлинской койке, я думала, что СССР окончательно станет моей страной и что я стану настоящей советской гражданкой. И все же грандиозный проект, нацеленный на раскол страны, уже был запущен. Этот проект спонсировался как изнутри, так и извне. Внутри Советского Союза и за его пределами все было усеяно минами непобедимых искушений: речь шла о бесчисленных яблоках раздора в ядовито-неоновой упаковке, мнимых запретных плодов, которые заражали умы строителей коммунизма. Это были маленькие неисчислимые мины с часовым механизмом. И эта предуготовленная катастрофа привела к апогею позора России в тот момент, когда генсек компартии согласился рекламировать американскую франчайзинговую сеть: «Благодаря Горбачеву у нас есть Пицца Хат!» – провозглашает в рекламе пожилая советская гражданка. Годами я себя спрашивала, насколько сильное чувство стыда должен был испытывать мистер Горбачев и сколько раз он задавал себе весьма уместный вопрос: «*Зачем?*» Именно зачем стоило разрушать собственную родину? Чтобы стать обитателем баварского замка – несметно богатым, но без души?

Кажется, кое в чем Троцкий был все-таки прав: нельзя создать социалистический остров в окружении «заклятых врагов». В итоге даже самые заядлые идеалисты присмотрелись к траве соседа, которая была благополучно окрашена во флуоресцентный зеленый цвет и искусно разрекламирована на больших и малых экранах.

Крах эгалитарной мечты повлек за собой страшные последствия для миллионов людей во всем мире. Лично для меня СССР был как луна, как маяк ночью – огонек надежды. Жить

на луне было страшно энергозатратно, но не менее захватывающе. С высоты я поглядывала на «землю», со всеми ее удобствами и пагубными зависимостями, и действительно чувствовала себя привилегированной, поскольку научилась отличать необходимое от эфемерного.

Но потом луна вдруг исчезла. А что, впрочем, изменилось? Вроде ничего. Всего за одну ночь вместо луны вдоль одиннадцати временных поясов понаставили луна-парки. А вокруг них были нищета, упадок и отчаяние. Исключение составляли некоторые граждане, которые за считаные месяцы разбогатели сверх меры. Россия стала громадным торговым центром, где кто мог – тратил награбленное, а кто не мог – распродавал самое дорогое: накопленные за всю жизнь книги. Народ, казалось, потерял свое достоинство. Я никогда не могла бы подумать, что буду жалеть русских. Я испытывала за них чувство стыда, хотя следовало бы и за себя постыдиться, раз я вернулась к своей роли западной девушки из порядочной буржуазной семьи, скрывая в душе щемящую тоску по тому навсегда потерянному «иному миру».

* * *

В ту ночь в Восточном Берлине я думала только о Ленинграде, о тесной, теплой, уютной квартире на улице Некрасова. Ленинград ждал меня, и этого никто не мог у меня отнять. Как его ни называть, Петербургом или даже Санкт-Петербургом – он уже тогда стал и навсегда остался моим домом.

С детства я интуитивно ощущала, что порой города могут любить людей, как, собственно, и ненавидеть, хотя преимущественно проявляют к ним дерзкое безразличие. С местами всегда завязываются какие-то отношения, а когда любишь определенное место, как бы оно ни менялось во времени, оно сохранит тебе верность.

Ленинград стал первым и единственным городом, который выбрал меня, итальянскую девчонку, влюбленную в Достоевского и охваченную маловразумительными и неосуществимыми грезами. Это была любовь с первого взгляда. И она была взаимной.

* * *

В моем болезненном полусне я отвлекалась мыслями о свадьбе, о ритуале букета, который в СССР невеста не кидала вслепую девушкам на выданье, а торжественно возлагала у памятников героям Отечества. На самом деле, скорее, чем о букете в западном понимании, речь обычно шла просто о связке гвоздик. В любом случае я уже решила, что не изменю своей неординарности – никакого Ленина, никаких неизвестных солдат, никакого Петра Первого. В те времена у меня было книжное представление о героизме – вернее, даже его осязаемая, подлинно «бумажная концепция». Я собиралась возложить свой свадебный букет из белых роз у строгой могильной плиты Достоевского, самого мятежного и реакционного, самого беспощадно-ироничного и милосердного, самого русского из великих русских классиков.

Во время моих ночных измышлений мне даже не приходило в голову, что в СССР найти розы было невозможно – нигде их не «давали», тем более белые! Как и не могла вообразить, что мне все-таки их «вынесут» из Ботанического сада.

Лишь со временем и с опытом я стала понимать, что все, что нельзя было найти в советских магазинах, так или иначе все равно можно было где-то достать. Все зависело лишь от упорства, уровня необходимости и силы желания. У советских людей было некое нравственно-душевное уважение по отношению к сильным и безобидным желаниям. Известная поговорка гласит: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Я до сих пор ее использую, когда объясняю студентам модальные глаголы.

* * *

Сокрытая в тихом, окутанном покоем монастыре, скромно вырисовывающемся на горизонте Невского проспекта, могила Достоевского смотрелась умиротворенно-торжественно. Здесь православный дух сливается с вековой славой русского народа, который этим монастырским комплексом увековечил подвиг святого Александра Невского, победившего в XIII веке сперва шведов, а потом тевтонских рыцарей, покушавшихся на балтийские земли.

История, оказалось, не предполагает окончательных побед: Бог и черт – согласно метафоре Дмитрия Карамазова – продолжают свою битву в сердцах людей. Бунтарское открытие Достоевского помогло Фрейду раскрыть скрипучую логику человеческих парадоксов, хотя все равно было принято относиться к этому колоссальному писателю как к своего рода диссиденту и поборнику традиционализма. Что-то, однако, не сходится. Ведь нередко читатели ищут в книгах то, что подпитывает их установки, а то, что их потрясает, – игнорируют. Великих русских авторов растаскивают в противоположных направлениях, хотя в действительности они находятся *по ту сторону* клик и даже идеологий: они могут, пожалуй, быть «за» или «против» чего-то, но в русской литературе главное – поиск неудобных, амбивалентных и неустойчивых истин. Главное – мужество.

Долгое время я проживала изнутри сложность шедевров Достоевского, где царствуют причудливые правила парадоксальности, такие, как знаменитое «дважды два пять», которое, однако, следует применять *иногда* как раз для того, чтобы смягчать жесткие углы, как это любят делать русские.

В поисках истины все великие русские поэты и писатели бередят никогда не заживающие раны: задевают болезненные вопросы, в которых сходятся *pro* и *contra*, и не отступают ни на шаг, подталкивая нас за пределы нашего излюбленного и обманчивого «здравого смысла». Следовать за ними – идеальное упражнение для отрезвления психики.

* * *

Я все думала о Ленинграде, городе-парадоксе, в котором подполье сливается с красотой. Одна моя ленинградская приятельница однажды сказала мне:

«Этот город настолько красив, что, если подойдешь к реке с мрачными намерениями, то, когда ты там окажешься, вместо того чтобы броситься в воду, будешь просто стоять с открытым ртом в полном восхищении».

Следовательно, в Петербурге лучше не оказываться слишком далеко от воды, которая, к счастью, в историческом центре повсюду, будто ты находишься в помноженной на сто крат Венеции с четырьмя миллионами жителей. Ты страшно тоскуешь по этому городу, даже находясь там. Ведь в России тоскуешь не только по тому, чего у тебя больше нет, но и по тому, что имеешь. Питер (так его все называют) – это как любимый человек: он кажется тебе недостижимым даже в моменты близости.

Я полюбила Ленинград с советскими надписями, воспевавшими партию и мир, еще когда подъезды в домах были в совершенно запущенном состоянии, а освещение на улицах было настолько тусклым, что создавалось впечатление, будто ты в XIX веке. Я любила Ленинград, когда витрины в магазинах выглядели печально опустевшими. Со временем я научилась любить и Петербург с его американскими вывесками и витринами, полными роскошных ненужностей. Ничто не сможет стереть исконную мощь человеческой истории, породившую этот город, окутанный славой, трауром и фантазиями, – это одновременно классическое, барочное и модернистское пространство, обитаемое утонченными и суровыми людьми с болота.

Петербуржцам всегда есть о чем рассказать. Тут расхаживают носы в мундире и призраки канцелярских служащих крадут за углом шинели; тут самовлюбленные студенты ходят с топором за пазухой, а мелкие чиновники в остолбенении наблюдают, как пачки ассигнаций пылают в камине. В Питере поэты и писатели никогда не уходят из жизни окончательно, а превращаются в тени, гуляющие рядом с нами вдоль каналов. Все в городе знают стихи Иосифа Бродского, который в итоге умер в Нью-Йорке и похоронен в Венеции, но тень которого еще бродит по островам его Ленинграда:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.

* * *

Ленинград жил историей. Однажды, в полном людей автобусе, одна мама с мальчиком спросила меня:

«Простите, а вы не помните, в какой день умер Наполеон?»

Благодаря банальным школьным воспоминаниям об известных каждому итальянцу стихах Алессандро Мандзони я ответила почти небрежно:

«Пятого мая тысяча восемьсот двадцать первого года».

«Спасибо, – сказала женщина, улыбаясь моей ложной эрудиции. – Значит, я правильно помнила». Затем она обратилась к сыну:

«Поблагодари девушку, Саня, и запомни: история – это мы».

В наши дни тоже история в Петербурге везде: снаружи, внутри, в подсознании людей. Какой-то американский политолог, кажется, постановил конец истории, но до тех пор, как будет существовать Россия, этого не произойдет. Россия – память.

* * *

Я глубоко заснула лишь часа за два до того, как меня разбудили. Естественно, в моей палате не было телефона, попросту пришли постучать в дверь. Мужской голос оповестил по-немецки:

«Пять часов! Пожалуйста, вставайте!», а затем потише и почти доброжелательно добавил: «Доброе утро».

В половине шестого, сбрызнув застылое лицо и стопы кипятком из-под крана, я полностью оделась, причесалась и накрасилась. Завтракать так рано было немыслимо, да и автоматов с едой в аэропортах еще не существовало.

Впервые я не испытывала никакого волнения перед полетом. Абсолютная усталость после бессонной ночи сливалась с возбуждением перед последним этапом моего пути в советскую судьбу. У меня уже был посадочный, и я крепко сжимала его в руках вместе с паспортом и визой. От этих документов зависело мое будущее. Чтобы переступить порог Дворца бракосочетания на самой элегантной ленинградской набережной, была необходима печать на визе. Нам назначили самое роскошное место, где уже года два как проводили свадебные церемонии с иностранцами – изящный особняк находился в шаге от Зимнего дворца. Кстати, до революции там жил внук Николая I.

Каждой советской невесте были положены талоны: на парикмахера, на букет цветов (из гвоздик, разумеется) и на свадебный банкет в гостинице или в ресторане при желании истра-

тить (как на Западе) большие деньги. Надо было только прилететь и получить эту проклятую печать. Меня предупредили, что мне придется заплатить за нее изнурительной беседой с агентами государственной безопасности, всем известными под акронимом КГБ. Меня это не страшило: я научилась отличать действительность от американских фильмов, и, главное, ничто не пугало меня больше, чем итальянская полиция. В «свинцовые годы», в разгул уличного насилия и преступности в Италии, будучи подростком, я жила при «законе Реале», когда на улице полицейские могли тебя остановить без какой-либо причины. Однажды я ехала на вечеринку на скутере, и меня остановили и заставили лечь лицом вниз. Пока я лежала на асфальте, стараясь не испортить лакированные туфельки, полицейские держали за моей спиной автомат без предохранителя. Затем, не попросив извинения, мне разрешили ехать дальше. Мои колготки от Ив Сен-Лорана были порваны.

* * *

Во время полета из Восточного Берлина в Ленинград адреналин начинал побеждать усталость. Внезапно в моем сознании воцарилась странная трезвость: я таки знала, что произошло в моей жизни, знала даже когда и, как мне казалось, зачем. Завершилась, думала я с гордостью, самая длинная и трудная ночь в моей жизни.

Лишь два года спустя в Италии, переживая нескончаемую ночь моих первых родов, я стала резко пересматривать параметры оценки.

Призрак из атласа все еще висит у меня в шкафу. Я часто думаю о том, что с ним будет, когда меня не станет. И хотя свадебные платья Икеа не производит, полагаю, его выкинут: сегодня выбрасывается все. А вот тут на бумаге, может быть, оно поможет кому-нибудь вспомнить, что жила-была когда-то, не так уж много лет назад, поистине небывалая страна под названием Советский Союз.

Учите русский, ребята!

Началось все восьмью годами ранее. Освобождающую бурю, которой было уготовлено ворваться в мою комфортную оседлую лигурийскую жизнь, вызвал разворот газеты «Ла Репубблика». В конце семидесятых это было честное издание, читаемое в Италии миллионами сторонников того гордого левого движения, которое исчезло каких-то двенадцать лет спустя, не оставив после себя даже надгробия, чтобы поплакать.

Роковая страница содержала многообещающий репортаж за подписью именитого профессора, литературоведа и итальяниста: в нем юным итальянцам, которые, подобно мне, не знали, какой путь выбрать, рекламировались различные программы филологических факультетов. За редким исключением, лишь филфаки предлагали в то время в Италии программы по иностранным языкам, и почтенный профессор нахваливал их, подчеркивая их профессиональную пользу:

«Кто хорошо знает немецкий, я уж не говорю русский, – цитирую по памяти, – тот без работы не останется».

Оставалось два месяца до истечения срока подачи документов. До тех пор у меня даже мысли об изучении языков не возникало: я колебалась между психологией, биологией, итальянской литературой и философией. Как и многих моих сверстников, меня тревожила перспектива пополнить ряды молодых итальянских эрудитов, обреченных на безработицу.

* * *

С детства я прилично говорила по-английски и по-французски, поскольку мы с семьей подолгу жили за границей; в школе изучала немецкий, но преподавание оставляло желать лучшего, и результаты, соответственно, были неважными. И все же я не могла помыслить, что языки наравне с медициной или физикой могут быть объектом изучения, обеспечивающим профессиональное будущее. При этом литература увлекала меня с детства, и я не могла рассматривать ее как самостоятельный «предмет». С повседневным прилежанием я поглощала книги итальянских писателей и поэтов. А вот шедевры иностранной литературы читала беспорядочно и наугад, в том числе по вине ужасных переводов, обижающих мой глубоко любимый родной язык.

И тут внезапно возникла явно сумасбродная идея изучать «иностранные языки и литературы», которая в конечном счете, может, и не была такой уж чудно́й; как раз в моем случае это могло стать удачным совмещением приятного с полезным. Но русский язык… Представление мое о нем было самым туманным. О России я не знала практически ничего. С необъяснимой жадностью я прочла, хоть и в безобразных переводах, «Преступление и наказание» и «Анну Каренину», зафиксировав в памяти (с неправильным ударением) пару-тройку экзотично звучащих русских слов, которые переводчики привыкли передавать в транслитерации. Я даже не знала, как по-русски будет «спасибо». Своим скудным знакомством с русским алфавитом я была обязана коллекции марок: в одном из альбомов была серия маленьких цветных прямоугольников, на которых красным значилась аббревиатура СССР: как и все итальянцы, я читала ее *Чичичипи́*. Один набор был посвящен Юрию Гагарину, первому на планете человеку, совершившему полет в космос. Его имя я смогла расшифровать только благодаря изображениям ракет, космических кораблей и орбит планет. В остальном в моем распоряжении, как и у всех моих сверстников, был ворох толков, стереотипов и мрачных домыслов…

* * *

Мне вспоминается эпизод, произошедший где-то десять лет назад, когда я уже преподавала русский язык в университете лет эдак двадцать.

К нам в Геную на факультет иностранных языков поступил очень талантливый молодой петербуржец. Его звали Лев, он прекрасно говорил по-итальянски, при этом как «иностранный язык» он выбрал родной русский. Лев с поразительным непоколебимым постоянством посещал мой теоретический курс русского языка: возможно, его привлекала моя методика; или, что более вероятно, дело было в остаточном и столь характерном для советских людей почтении к профессорам, которое передали ему родители.

Однажды вечером к концу пары, при виде целой аудитории, вздыхающей от утомления, я решила закруглить свои уже явно бесполезные разъяснения на русском и пригласить на кафедру Льва, предложив его товарищам по-итальянски задать вопросы о России, какие им придут в голову:

«Ребята, спросите у Льва о культуре, обычаях…»

Сразу поступил первый вопрос:

«А правда, что в России страшный дубак?»

Лев ответил с типичным петербургским апломбом:

«Ну, смотря где и когда. Допустим, в Заполярье, особенно зимой – да, страшный дубак».

Следующий вопрос: «А правда, что вы в России пьете только водку?»

Лев: «Лично я иногда могу выпить еще и чашку чая».

Третий вопрос: «А правда, что в советский период у вас ели детей?»

Лев, не моргнув глазом, с готовностью ответил:

«Почему же „ели“? Мы и сейчас их едим, в основном на завтрак».

Я стояла перед студентами и завороженно наблюдала за их реакцией на совершенно серьезные ответы бесстрашного петербуржца. С десяток студентов рассмеялись; еще десять лиц исказила гримаса ужаса; остальные, нахмурив лоб, выражали сомнение.

Итальянцам трудно себе представить, насколько стереотипы о России – в основном придуманные и растиражированные теми, кто ничего о ней не знает, кто ее боится или ненавидит, – абсолютно противоположны тому, что о ней знают изучавшие ее культуру и историю, и тому, чем является Россия для самих русских.

В России к детям особое благоговейное отношение, и велико́ негодование в адрес всякого, кто плохо с ними обращается. Жестокость в отношении детей возводится у Достоевского в статус непростительного и недопустимого греха. Ничто, говорит Иван Карамазов брату Алеше, не может оправдать страдания детей:

> И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.